

«Записки юного врача» широко известны. Они пришли к читателям в начале 60-х годов, и произведенное ими впечатление было огромно. Признанный драматург, автор «Дней Турбиных» и «Бега», Михаил Булгаков тогда впервые открылся как мастер прозрачной, светло окрашенной юмором прозы, пронизанной верой в силу человеческого духа, в могущество знания и вдохновение долга.

Рассказов было шесть. Они были сбережены Еленой Сергеевной Булгаковой, вдовой писателя. Сбережены не в рукописях — рукописей «Записок юного врача» нет, — а в давно забытых публикациях 20-х годов — в тоненьких книжках журнала «Красная панорама» и узковедомственного, малотиражного журнала «Медицинский работник».

Седьмой — «Звездная сыпь», один из лучших рассказов цикла, — в поле зрения издателей не попал: Елена Сергеевна не знала о его существовании, номера 29—30 «Медицинского работника» за 1926 год — с единственной публикацией этого рассказа — в архиве писателя не сохранились.

Этот рассказ, как и весь цикл, автобиографичен.

Михаил Булгаков окончил Киевский университет в 1916 году. Добровольцем Красного Креста уехал на фронт. Осенью был отозван с фронта и направлен в глухую деревню Смоленской губернии — заведующим и единственным врачом маленькой сельской больницы. Так в его жизнь вошла деревня. Задавленная нищетой, замученная шедшей третий год, чуждой народу империалистической войной. Молодой врач встретился с невежеством. С бытовым сифилисом, завезенным сначала с «японской», потом с «германской» войны.

К этому, дореволюционному, времени и относится рассказ писателя. Печатая его, мы вспоминаем слова В. И. Ленина о том, что Советской России достались в наследство от старого мира, в числе других родимых пятен капитализма, заразные болезни, нищета, унижение и пр.

В первые послереволюционные годы советская медицина сражалась с этим бедствием яростно и неотступно, в том числе и молодой врач Михаил Булгаков.

Он делал ампутации и прививки, ескривая нарывы и принимал роды. Всё, что делает сельский врач, осенним бездорожьем и зимними вьюгами замкнутый на своем участке. Но специализироваться решил в том, что считал самым трудным и ответственным — в венерологии. Именно венерологом — как и доктор Турбин, герой его «Белой гвардии», — в начале 1918 года вернулся домой, в Киев.

Но предстояло ему стать писателем, а не врачом. В Киеве, в маленьком доме на Андреевском спуске, жестокой зимой и потом летом 1919 года, когда город, содрогаясь от обстрелов, переходил из рук в руки, в своем кабинете врача, посещаемом больными нечасто и нерегулярно, Булгаков пишет «Записки земского врача». Написанные страницы тогда же, в 1919 году, читал близким. Тому есть свидетельство друга Михаила Булгакова с гимназических лет — скрипача А. П. Гвешинского.

Тот ранний текст «Записок» до нас не дошел. В 1925—1926 годах, в Москве, Михаил Булгаков эти рассказы переписал и назвал «Записками юного врача». Он именно переписывал свои произведения. Или диктовал — любил диктовать — переписчице или сразу на машинку, держа в руках старый текст, и многие строки, иногда целые страницы начинали звучать по-новому, приобретая булгаковскую стилистическую завершенность...

Полностью ли нам известны «Записки юного врача» теперь? Не исключено, что в цикл входили и другие рассказы.

Людия ЯНОВСКАЯ,

Звездная сыпь

Из «Записок юного врача»

Это он. Чутье мне подсказало. На знание мое рассчитывать не приходилось. Знания у меня, врача, шесть месяцев тому назад окончившего университета, конечно, не было.

Я побоялся тронуть человека за обнаженное и теплое плечо (хотя бояться было нечего) и на словах велел ему:

— Дядя, а ну-ка, подвиньтесь ближе к свету!

Человек повернулся так, как я этого хотел, и свет керосиновой лампы-молнии залил его желтоватую кожу. Сквозь эту желтизну на выпуклой груди и на боках проступала мраморная сыпь. «Как в небе звезды», — подумал я и с холодом под сердцем склонился к груди, потом отвел глаза от нее, поднял их на лицо. Передо мной было лицо сорокалетнее, в свалывшейся бородке грязно-пепельного цвета, с бойкими глазками, прикрытыми напухшими веками. В глазках этих я, к великому моему удивлению, прочитал важность и сознание собственного достоинства.

Человек помаргивал и оглядывался равнодушно и скучающе и поправлял поясок на штанах.

«Это он — сифилис», — вторично мысленно и строго сказал я. В первый раз в моей врачебной жизни я натолкнулся на него, я — врач, прямо с университетской скамеечки брошенный в деревенскую даль в начале революции.

На сифилис этот я натолкнулся случайно. Этот человек приехал ко мне и жаловался на то, что ему заложило глотку. Совершенно безотчетно, и не думая о сифилисе, я велел ему раздеться и вот тогда увидел эту звездную сыпь.

Я сопоставил хрипсту, зловещую красноту в глотке, странные белые пятна в ней, мраморную грудь и догадался. Прежде всего я малодушно вытер руки сулемовым шариком, причем беспокойная мысль: «Кажется, он кашлянул мне на руки», — отравила мне минуту. Затем беспомощно и брезгливо повертел в руках стеклянный шпатель, при помощи которого исследовал горло моего пациента. Куда бы его деть?

Решил положить на окно, на комек ваты.

— Вот что, — сказал я, — видите ли... Гм... По-видимому... Впрочем, даже наверно... У вас, видите ли, нехорошая болезнь — сифилис...

Сказал это и смутился. Мне показалось, что человек этот очень сильно испугается, разнервничается...

Он несколько не разнервничался и не испугался. Как-то сбоку он покосился на меня, вроде того как смотрит круглым глазом курица, услышав призывающий ее голос. В этом круглом глазе я очень изумленно отметил недоверие.

— Сифилис у вас, — повторил я мягко.

— Это что же? — спросил человек с мраморной сыпью.

Тут остро мелькнул у меня перед глазами край снежно-белой палаты, университетской палаты, амфитеатр с громоздящимися студенческими головами и седая борода профессора-венеролога... Но быстро я очнулся и вспомнил, что я в полутора тысячах верст от амфитеатра и в сорока верстах от

железной дороги, в свете лампы-молнии... За белой дверью глухо шумели многочисленные пациенты, ожидающие очереди. За окном неуклонно смеркалось и летел первый зимний снег.

Я заставил пациента раздеться еще больше и нашел заживающую уже первичную язву. Последние сомнения оставили меня, и чувство гордости, неизменно являющееся каждый раз, когда я верно ставил диагноз, пришло ко мне.

— Застегивайтесь, — заговорил я, — у вас сифилис! Болезнь весьма серьезная, захватывающая весь организм. Вам долго придется лечиться!..

Тут я зашнулся, потому что — клянусь!.. — прочел в этом, похожем на куриный, взоре удивление, смешанное явно с пронией.

— Глотка вот захрипла, — молвил пациент.

— Ну да, вот от этого и захрипла. От этого и сыпь на груди. Посмотрите на свою грудь...

Человек скосил глаза и глянул. Иронический огонек не погасал в глазах.

— Мне бы вот глотку полечить, — вымолвил он.

«Что это он все свое? — уже с некоторым нетерпением подумал я. — Я про сифилис, а он про глотку!»

— Слушайте, дядя, — продолжал я вслух, — глотка дело второстепенное. Глотке мы тоже поможем, но, самое главное, нужно вашу общую болезнь лечить. И долго вам придется лечиться — два года.

Тут пациент вытаращил на меня глаза. И в них я прочел свой приговор: «Да ты, доктор, рехнулся!»

— Что ж так долго? — спросил пациент. — Как это так два года?! Мне бы какого-нибудь полоскания для глотки...

Внутри у меня все загорелось. И я стал говорить. Я уже не боялся испугать его. О нет! Напротив, я намекнул, что и нос может провалиться. Я рассказал о том, что ждет моего пациента впереди, в случае, если он не будет лечиться как следует. Я коснулся вопроса о заразительности сифилиса и долго говорил о тарелках, ложках и чашках, об отдельном полотенце...

— Вы женаты? — спросил я.

— Жанат, — изумленно отозвался пациент.

— Жену немедленно пришлите ко мне! — взволнованно и страстно говорил я. — Ведь она тоже, наверное, больна?

— Жану?! — спросил пациент и с великим удивлением всмотрелся в меня.

Так мы и продолжали разговор. Он, помаргивая, смотрел в мои зрачки, а я в его. Вернее, это был не разговор, а мой монолог. Блестящий монолог, за который любой из профессоров поставил бы пятерку пятикурснику. Я обнаружил у себя громадные познания в области сифилидологии и недюжинную сметку. Она заполняла темные дырки в тех местах, где не хватало строк немецких и русских учебников. Я рассказал о том, что бывает с костями нелеченного сифилитика, а попутно очертил и прогрессивный паралич. Потомство! А как жену спасти?! Или, если она заражена, а заражена она наверное, то как ее лечить?

Наконец поток мой иссяк, и застенчивым движением я вынул из кармана справочник в красном переплете с золотыми буквами. Верный друг мой, с которым я не расставался на первых шагах моего трудного пути. Сколько раз он выручал меня, когда проклятые рецептурные вопросы разверзали черную пропасть передо мной! Я украдкой, в то время как пациент одевался, перелистывал странички и нашел то, что мне было нужно.

Ртутная мазь — великое средство.

— Вы будете делать втирания. Вам дадут шесть пакетиков мази. Будете втирать по одному пакетiku в день... вот так...

И я наглядно и с жаром показал, как нужно втирать, и сам пустую ладонь втирал в халат...

— ...Сегодня — в руку, завтра — в ногу, потом опять в руку — другую. Когда сделаете шесть втираний, вымоетесь и придете ко мне. Обяза-



Рис. С. Острова.

тельно. Слышите? Обязательно! Да! Кроме того, нужно внимательно следить за зубами и вообще за ртом, пока будете лечиться. Я вам дам полоскание. После еды обязательно полощите...

— И глотку? — спросил пациент хрипло, и тут я заметил, что только при слове «полоскание» он оживился.

— Да, да, и глотку.

Через несколько минут желтая спина тулупа уходила с моих глаз в двери, а ей навстречу протискивалась бабья голова в платке.

А еще через несколько минут, пробегая по полутемному коридору из амбулаторного своего кабинета в аптеку за папиросами, я услышал бегло хриплый шепот:

— Плохо лечит. Молодой. Понимаешь, глотку заложило, а он смотрит, смотрит... То грудь, то живот... Тут делов полно, а на больницу полдня.

Пока выедешь — вот те и ночь. О, господи! Глотка болит, а он мази на ноги дает.

— Без внимания, без внимания, — подтвердил бабий голос с некоторым дребезжаньем и вдруг осекся. Это я, как привидение, промелькнул в своем белом халате. Не вытерпел, оглянулся и узнал в полутьме бороденку, похожую на бороденку из пакли, и набрякшие веки, и куриный глаз. Да и голос с грозной хрипотой узнал. Я втянул голову в плечи, как-то воровато съежился, точно был виноват, исчез, ясно чувствуя какую-то ссадину, нагоравшую в душе. Мне было страшно.

Неужто же все впустую?..

...Не может быть! И месяц я сыщически внимательно проглядывал на каждом приеме по утрам амбулаторную книгу, ожидая встретить фамилию жены внимательного слушателя моего монолога о сифилисе. Месяц я ждал его самого. И не дождался никого. И через месяц он угас в моей памяти, перестал тревожить, забылся...

Потому что шли новые и новые, и каждый день моей работы в забытой глуши нес для меня изумительные случаи, каверзные вещи, заставлявшие меня изнурять мой мозг, сотни раз теряться и вновь обретать присутствие духа, и вновь окрыляться на борьбу.

Теперь, когда прошло много лет, вдалеке от забытой облупленной белой больницы, я вспоминаю звездную сыпь на его груди. Где он? Что делает? Ах, я знаю, знаю. Если он жив, время от времени он и его жена ездят в ветхую больницу. Жалуются на язвы на ногах. Я ясно представляю, как он разматывает портянки, ищет сочувствия. И молодой врач, мужчина или женщина, в беленьком штопаном халате, склоняется к ногам, давит пальцем кость выше язвы, ищет причин. Находит и пишет в книге: «Lues III», потом спрашивает, не давали ли ему для лечения черную мазь.

И вот тогда, как я вспоминаю его, он вспомнит меня, 17-й год, снег за окном и шесть пакетиков в воценой бумаге, шесть неиспользованных липких комков.

— Как же, как же, давал... — скажет он и поглядит, но уже без проны, а с черноватой тревогой в глазах. И врач выпишет ему иодистый калий, быть может, назначит другое лечение. Так же, быть может, заглянет, как и я, в справочник...

Привет вам, мой товарищ!

«...еще, дражайшая супруга, передайте низкий поклон дяде Сафрону Ивановичу. А кроме того, дорогая супруга, съездите к нашему доктору, покажь ему себе, как я уже полгода больной дурной болью сифилем. А на побылке у Вас не открылся. Примите лечение.

Супруг Ваш. Ан. Буков».

Молодая женщина зажала рот концом байкового платка, села на лавку и затряслась от плача. Завитки ее светлых волос, намокшие от растаявшего снега, выбились на лоб.

— Подлец он! А?! — выкрикнула она.

— Подлец, — твердо ответил я.

Затем настало самое трудное и мучительное. Нужно было успокоить ее. А как успокоить? Под гул голосов, нетерпеливо ждущих в приемной, мы долго шептались...

Где-то в глубине моей души, еще не притупившейся к человеческому страданию, я разыскал теплые слова. Прежде всего я постарался убить в ней страх. Говорил, что ничего еще ровно неизвестно и до исследования предаваться отчаянию нельзя. Да и после исследования ему не место: я рассказал о том, с каким успехом мы лечим эту дурную боль — сифилис.

— Подлец, подлец, — всхлинула молодая женщина и давилась слезами.

— Подлец, — вторил я.

Так довольно долго мы называли бранными словами «дражайшего супруга», побывавшего дома и отбывшего в город Москву.

Наконец лицо женщины стало высыхать, остались лишь пятна и тяжело набрякли веки над черными отчаянными глазами.

— Что я буду делать? Ведь у меня двое детей, — говорила она сухим измученным голосом.

— Погодите, погодите, — бормотал я, — видно будет, что делать.

Я позвал акушерку Пелагею Ивановну, втроем мы уединились в отдельной палате, где было гинекологическое кресло.

— Ах, прохвост, ах, прохвост, — сквозь зубы сипела Пелагея Ивановна. Женщина молчала, глаза ее были, как две черные ямки, она всматривалась в окно — в сумерки.

Это был и один из самых внимательных осмотров в моей жизни. Мы с Пелагеей Ивановной не оставили ни одной пяди тела. И нигде и ничего подозрительного я не нашел.

— Знаете что, — сказал я, и мне страстно захотелось, чтобы надежды меня не обманули и дальше не появилась бы нигде грозная твердая первичная язва, — знаете что?.. Перестаньте волноваться! Есть надежда. Надежда. Правда, все еще может случиться, но сейчас у вас ничего нет.

— Нет? — сипло спросила женщина. — Нет? — Искры появились у нее в глазах, и розовая краска тронула скулы. — А вдруг сделается? А?..

— Я сам не пойму, — вполголоса сказал я Пелагее Ивановне, — судя по тому, что она рассказывала, должно у нее быть заражение, однако же ничего нет.

— Ничего нет, — как эхо, откликнулась Пелагея Ивановна.

Мы еще несколько минут шептались с женщиной о разных сроках, о разных интимных вещах, и женщина получила от меня наказ ездить в больницу.

Теперь я смотрел на женщину и видел, что это — человек, перешибленный пополам. Надежда закралась в нее, потом тотчас умирала. Она еще раз всплакнула и ушла темной тенью. С тех пор меч повис над женщиной. Каждую субботу беззвучно появлялась в амбулатории у меня. Она очень осунулась, резко выступили скулы, глаза запали и окружились тенями. Сосредоточенная дума оттянула углы ее губ книзу. Она привычным жестом разматывала платок, затем мы уходили втроем в палату. Осматривали ее.

Первые три субботы прошли, и опять ничего не нашли мы на ней. Тогда она стала отходить понемногу. Живой блеск зарождался в глазах, лицо оживало, расправлялась стянутая маска. Наши шансы росли. Таяла опасность. На четвертую субботу я говорил уже уверенно. За моими плечами было около 90 % за благополучный исход. Прошел с лихвой первый 21-дневный знаменитый срок. Остались дальние случайные, когда язва развивается с громадным запозданием. Прошли, наконец, и эти сроки, и однажды, отбросив в таз сияющее зеркало, в последний раз оцупав железы, я сказал женщине:

— Вы вне всякой опасности. Больше не приезжайте. Это — счастливый случай.

— Ничего не будет? — спросила она незабываемым голосом.

— Ничего.

Не хватит у меня умения описать ее лицо. Помню только, как она поклонилась низко в пояс и исчезла.

Впрочем, еще раз она появилась. В руках у нее был сверток — два фунта масла и два десятка яиц. И после страшного боя я ни масла, ни яиц не взял. И очень этим гордился, вследствие юности. Но впоследствии, когда мне приходилось голодать в революционные годы, не раз вспоминал лампу-молнию, черные глаза и золотой кусок масла с вдавленными от пальцев, с проступившей на нем росой.

К чему же теперь, когда прошло так много лет, я вспомнил ее, обреченную на четырехмесячный страх. Недаром. Женщина эта была второй моей пациенткой в этой области, которой впоследствии я отдал мои лучшие годы. Первым был тот — со звездной сыпью на груди. Итак, она была второй и единственным исключением: она боялась. Единственная в моей памяти, сохранившей освещенную керосиновыми лампами работу нас четверых (Пелагеи Ивановны, Анны Николаевны, Демьяна Лукича и меня).

В то время, как текли ее мучительные субботы, как бы в ожидании казни, я стал искать «его». Осенние вечера длинны. В докторской квартире жарки голландки-печи. Тишина, и мне показалось, что я один во всем мире со своей лампой. Где-то очень бурно плеслась жизнь, а у меня за окнами бил, стучался комой дождь, потом незаметно превратился в беззвучный снег. Долгие часы я сидел и читал старые амбулаторные книги за предшествующие пять лет. Передо мной тысячами и десятками тысяч прошли имена и названия деревень. В этих колоннах людей я искал его и находил часто. Мелькали надписи, шаблонные, скучные: «Bronchitis», «Laryngit»... еще и еще... Но вот он! «Lues III». Ага... И сбоку размашистым почерком, привычной рукой выписано:

Rp. Ung. hydrarg. ciner. 3,0 D. t. d...

Вот она — «черная» мазь.

Опять. Опять пляшут в глазах бронхиты и катары и вдруг прерываются... вновь «Lues»...

Больше всего было пометок именно о вторичном люэсе. Реже попадался третичный. И тогда подыстый калий размашисто занимал графу «лечение».

Чем дальше я читал старые, пахнущие плесенью амбулаторные, забытые на чердаке фолианты, тем больший свет проливался в мою неопытную голову. Я начал понимать чудовищные вещи.

Позвольте, а где же пометки о первичной язве? Что-то не видно. На тысячи и тысячи имен редко одна, одна. А вторичного сифилиса — бесконечные вереницы. Что же это значит? А вот что это значит...

— Это значит... — говорил я в тени самому себе и мыши, грызущей старые корешки на книжных полках шкафа, — это значит, что здесь не имеют понятия о сифилисе и язва эта никого не пугает. Да-с. А потом она возьмет и заживет. Рубец останется... Так, так, и больше ничего? Нет, не больше ничего! А разовьется вторичный и бурный при этом — сифилис. Когда глотка болит и на теле появятся мокнущие папулы, то поедет в больницу Семен Хотов, 32 лет, и ему дадут серую мазь... Ага!..

Круг света помешался на столе, и в пепельнице лежащая шоколадная жеванка исчезла под грудой окурков.

— Я найду этого Семена Хотова. Гм...

Шуршали чуть тронутые желтым тлением амбулаторные листы. 17 июня 1916 года Семен Хотов получил шесть пакетиков ртутной целительной мази, изобретенной давно на спасение Семена Хотова. Мне известно, что мой предшественник говорил Семену, вручая ему мазь:

— Семен, когда сделаешь шесть втираний, вымоешься, приедешь опять. Слышишь, Семен?

Семен, конечно, кланялся и благодарил сильным голосом. Посмотрим: деньков через 10—12 должен Семен неизбежно опять показаться в книге. Посмотрим, посмотрим... Дым, листы шуршат. Ох, нет, нет Семена! Нет через 10 дней, нет через 20... Его вовсе нет. Ах, бедный Семен Хотов. Стало быть, исчезла мраморная сыпь, как потухают звезды на заре, подсохли кондиомы. И погибнет, право, погибнет Семен. Я, вероятно, увижу этого Семена с гуммозными язвами у себя на приеме. Цел ли у него носовой скелет? А зрачки у него одинаковые?... Бедный Семен!

Но вот не Семен, а Иван Карпов. Мудреного нет. Почему же не заболеть Карпову Ивану? Да, но позвольте, почему же ему выписан каломель с молочным сахаром в маленькой дозе?! Вот почему: Ивану Карпову 2 года!

А у него «Lues II»! Роковая двойка! В звездах принесли Ивана Карпова, на руках у матери он отбивался от цепких докторских рук. Все понятно.

— Я знаю, я догадываюсь, я понял, где была у мальчишки двух лет первичная язва, без которой не бывает ничего вторичного. Она была во рту! Он получил ее с ложечки.

Учи меня, глушь! Учи меня, тишина деревенского дома! Да, много интересного расскажет старая амбулатория юному врачу.

Выше Ивана Карпова стояла:

«Авдотья Карпова, 30 лет».

Кто она? Ах, понятно. Это — мать Ивана. На руках-то у нее он и плакал.

А ниже Ивана Карпова:

«Авдотья Карпова, 8 лет».

А это кто? Сестра! Каломель...

Семья налицо. Семья. И не хватает в ней только одного человека — Карпова лет 35—40... И неизвестно, как его зовут — Сидор, Петр. О, это неважно!

«...дражайшая супруга... дурная болезнь сифиль...»

Вот он — документ. Свет в голове. Да, вероятно, приехал с проклятого фронта и «не открылся», а может, и не знал, что нужно открыться. Уехал. А тут пошло. За Авдотьей — Марья, за Марьей — Иван. Общая чашка со щами, полотенце...

Вот еще семья. И еще. Вон старик, 70 лет. «Lues II». Старик. В чем ты виноват? Ни в чем. В общей чашке! Внеполовое, внеполовое. Свет ясен. Как ясен и беловатый рассвет раннего декабря. Значит, над амбулаторными записями и великоленными немецкими учебниками с яркими картинками я просидел всю мою одинокую ночь.

Уходя в спальню, зевал, бормотал:

— Я буду с «ним» бороться.

Чтобы бороться, нужно его видеть. И он не замедлил. Лег санный путь, и бывало, что ко мне приезжало 100 человек в день. День занимался мутно-белым, а заканчивался черной мглой за окнами, в которую загадочно, с тихим шорохом уходили последние сани.

Он пошел передо мной разнообразный и коварный. То появлялся в виде язв беловатых в горле у девчонки-подростка. То в виде сабельных искривленных ног. То в виде подрытых вялых язв на желтых ногах старухи. То в виде мокнущих паул на теле цветущей женщины. Иногда он горделиво занимал лоб полудлунной короной Венеры. Являлся отраженным наказанием за тьму отцов на ребятах с носами, похожими на казачьи седла. Но кроме того он проскальзывал и незамеченным мною. Ах, ведь я был со школьной парты!

И до всего доходил своим умом и в одиночестве. Где-то он таился и в костях и в мозгу.

Я узнал многое.

— Перетирку велели мне тогда делать.

— Черной мазью?

— Черной мазью, батюшка, черной...

— Накрест? Сегодня — руку, завтра — ногу?

— Как же. И как ты, кормилец, узнал? (Льстиво.)

«Как же не узнать? Ах, как не узнать. Вот она — гумма!..»

— Дурной болью болел?

— Что вы! У нас и в роду этого не слыхивали.

— Угу... Глотка болела?

— Глотка-то. Болела глотка. В прошлом годе.

— Угу... А мазь давал Леонтий Леонтьевич?

— Как же! Черная, как сапог.

— Плохо, дядя, втирал ты мазь. Ах, плохо!..

Я расточал бесчисленные килы серой мази. Я много, много выписывал подистого калия и много извергал страстных слов. Некоторых мне удалось вернуть после первых шести втираний. Нескольким удалось, хотя большей частью и не полностью, провести хотя бы первые курсы впрыскиваний. Но большая часть утекала у меня из рук, как песок в песочных часах, и я не мог разыскать их в снежной мгле. Ах, я убедился в том, что здесь сифилис тем и был страшен, что он не был страшен. Вот почему в начале этого моего воспоминания я и привел ту женщину с черными глазами. И вспомнил я ее с каким-то теплым уважением именно за ее боязнь. Но она была одна!

Я возмужал, я стал сосредоточен, порой угрюм. Я мечтал о том, когда окончится мой срок и я вернусь в университетский город, и там станет легче в моей борьбе.

В один из таких мрачных дней на прием в амбулаторию вошла женщина, молодая и очень хорошая собою. На руках она несла закутанного ребенка, а двое ребят, ковыляя и путаясь в непомерных валенках, держась за синюю юбку, выступавшую из-под полушубка, ввалились за нею.

— Сыпь кинулась на ребят, — сказала краснощекая бабенка важно.

Я осторожно коснулся лба девочки, держащейся за юбку. И она скрылась в ее складках без следа. Необыкновенно мордастого Ваньку выудил из юбки с другой стороны. Коснулся и его. И лбы у обоих были не жаркие, обыкновенные.

— Раскрой, миленькая, ребенка.

Она раскрыла девочку. Голенькое тельце было усеяно не хуже, чем небо в застывшую морозную ночь. С ног до головы сидела пятнами розеола и мокнущие папулы. Ванька вздумал отбиваться и выть. Пришел Демьян Лукич и мне помог...

— Простуда, что ли? — сказала мать, глядя безмятежными глазами.

— Э-х-эх, простуда, — ворчал Лукич, и жалостливо и брезгливо кривя рот. — Весь Коробовский уезд у них так простужен.

— А с чего ж это? — спрашивала мать, пока я разглядывал ее пятнистые бока и грудь.

— Одевайся, — сказал я.

Затем присел к столу, голову положил на руку и зевнул (она приехала ко мне одной из последних в этот день, и номер ее был 98). Потом заговорил:

— У тебя, тетка, а также у твоих ребят «дурная боль». Опасная, страшная болезнь. Вам всем сейчас же нужно начинать лечиться и лечиться долго.

Как жаль, что словами трудно изобразить недоверие в выпуклых голубых бабьих глазах. Она повернула младенца, как полено, на руках, тупо поглядела на ножки и спросила:

— Скудова же это?

Потом криво усмехнулась.

— Скудова — не интересно, — отозвался я, закуривая пятидесятую папиросу за этот день, — другое ты лучше спроси, что будет с твоими ребятами, если не станешь лечить.

— А что? Ничаво не будет, — ответила она и стала заворачивать младенца в пеленки.

У меня перед глазами лежали часы на столике. Как сейчас помню, что поговорил я не более трех минут, и баба зарыдала. И я очень был рад этим слезам, потому что только благодаря им, вызванным моими нарочито жесткими и пугающими словами, стала возможна дальнейшая часть разговора:

— Итак, они остаются. Демьян Лукич, вы поместите их во флигеле. Стифозными мы справимся во второй палате. Завтра я поеду в город и добьюсь разрешения открыть стационарное отделение для сифилитиков.

Великий интерес вспыхнул в глазах фельдшера.

— Что вы, доктор, — отозвался он (великий скептик был), — да как же мы управимся одни? А препараты? Липких сиделок нету... А готовить?.. А посуда, шприцы?!

Но я тупо, упрямо помотал головой и отозвался:

— Добьюсь.

Прошел месяц...

В трех комнатах занесенного снегом флигелька горели лампы с жестяными абажурами. На постелях бельишко было рваное. Два шприца всего было. Маленький однограммовый и пятиграммовый — люэр. Словом, это была жалостливая, занесенная снегом бедность. Но... Гордо лежал отдельно шприц, при помощи которого я, мысленно замирая от страха, несколько раз уже делал новые для меня, еще загадочные и трудные вливания салварсана.

И еще: на душе у меня было гораздо спокойнее — во флигельке лежали 7 мужчин и 5 женщин, и с каждым днем таяла у меня на глазах звездная сыпь.

Был вечер. Демьян Лукич держал маленькую лампочку и освещал застенчивого Ваньку. Рот у него был вымазан манной кашей. Но звезд на нем уже не было. И так все четверо прошли под лампочкой, лаская мою совесть.

— К завтраму, стало быть, выпишусь, — сказала мать, поправляя кофточку.

— Нет, нельзя еще, — ответил я, — еще один курс придется претерпеть.

— Нет моего согласия, — ответила она, — делов дома срезь. За помощь спасибо, а выписывайте завтра. Мы уже здоровы.

Разговор разгорелся, как костер. Кончился он так:

— Ты... ты знаешь, — заговорил я и почувствовал, что багровею, — ты знаешь... ты дура!..

— Ты что же это ругаешься? Это какие же порядки — ругаться?

— Разве тебя душой следует ругать? Не душой, а...а!.. Ты посмотри на Ваньку! Ты что же, хочешь его погубить? Ну, так я тебе не позволю этого!

И она осталась еще на десять дней.

Десять дней! Больше никто бы ее не удержал. Я вам ручаюсь. Но, поверьте, совесть моя была спокойна, и даже... «дура» не потревожила меня. Не раскаиваюсь. Что брань по сравнению с звездной сыпью!

Итак, ушли года. Давно судьба и бурные лета разлучили меня с занесенным снегом флигелем. Что там теперь и кто? Я верю, что лучше. Здание выбелено, быть может, и белье новое. Электричества-то, конечно, нет. Возможно, что сейчас, когда я пишу эти строки, чья-нибудь юная голова склоняется к груди больного. Керосиновая лампа отбрасывает свет желтоватый на желтоватую кожу...

Привет, мой товарищ!

Публикация
Л. ЯНОВСКОЙ.